

Андрей Белый

# Бальмонт



Андрей Белый

**Бальмонт**

«Public Domain»

1908

## **Белый А.**

Бальмонт / А. Белый — «Public Domain», 1908

«Поэзия К. Д. Бальмонта имеет несколько стадий. «В безбрежности» и «Тишина» вводят нас в мистицизм туманов, камышей и затонов, затерянных в необъятности северных равнин как угрюмый кошмар, пронизывают мировые пространства эти равнины, собирая туманы. Это взывания Вечности к усмирённым, это – воздушно золотая дымка над пропастью или сладкоонемелые цветы, гаснущие в сумерки вечеров. Это – золотая звезда, это – серая чайка. Это – песня северных лебедей...»

# Содержание

I	5
II	8

# Андрей Белый Бальмонт

## I

Поэзия К. Д. Бальмонта имеет несколько стадий. «*В безбрежности*» и «*Тишина*»<sup>1</sup> вводят нас в мистицизм туманов, камышей и затонов, затерянных в необъятности северных равнин как угрюмый кошмар, пронизывают мировые пространства эти равнины, собирая туманы. Это взывания Вечности к усмирленным, это – воздушно золотая дымка над пропастью или сладко-онемелые цветы, гаснущие в сумерки вечеров. Это – золотая звезда, это – серая чайка. Это – песня северных лебедей.

Мутные волны хаоса, отливающие красным заревом, исступленные крики замерзающих в холоде безбрежности, первое веянье будущих гроз и громовых раскатов, уродливые изломы порока – вот что неожиданно поражает в «*Горящих зданиях*»<sup>2</sup>. Тут решительный перегиб от буддийской онемелости и величавого холода к золотисто-закатному, винному пожару дионисианства.

Знойные потоки солнечной светозарности омывают нас вечной лаской, когда раздаются звучные строки о том, что мы «*будем как солнце*». Орлиный взлет к обаятельному томлению июльских дней и к печали пожарных закатов.

Сборник «*Только любовь*»<sup>3</sup>, соединяя разрозненные черты нескольких периодов творчества К. Д. Бальмонта, не является, однако, новым взлетом в высоту. Он – только полнее, многозвучнее, многоцветней, заканчивая какой-то большой период творчества. Вот почему удачна мысль назвать его *семицветиком*.

До последнего времени чистая поэзия приближалась к музыке. Музыка от Бетховена до Вагнера и Р. Штрауса рисовала параболу по направлению к поэзии. В развитии философской мысли тоже наблюдались признаки, сближающие ее с поэзией. Проблематическая точка, где поэзия, музыка и мысль сливаются в нечто нераздельное, неожиданно приблизилась к нам. Эта точка – мистерия.

Все меньше и меньше великих представителей эстетизма. Среди поэтов все чаще наблюдаются передвижения в область религиозно-философскую. Ручьи поэзии переливаются в теургию и магию. Для чистой поэзии наступает пора осени. Тем драгоценнее, тем прекраснее лепестки еще не угасших цветов, отливающие красным и синим жаром:

Есть в осени первоначальной  
Короткая, но дивная пора...

Весь мир тогда одевается в золото, и деревья трепещут яхонтовыми подвесками. Бальмонт, последний русский великан чистой поэзии, – представитель эстетизма, переплеснувшего в теософию. Теософский налет этой поэзии, сохранившей еще девственность, и есть признак ее осени. Луч заходящего солнца, упав на гладкую поверхность зеркала, золотит его бездной блеска. И потом, уплывая за солнцем, гасит блеск. Бальмонт – сияющее зеркало эстетизма, горящее сотнями яхонтов. Когда погаснет источник блеска, как долго мы будем любоваться

---

<sup>1</sup> «В безбрежности» (1895) и «Тишина» (1898) – книги стихов К. Д. Бальмонта.

<sup>2</sup> «Горящие здания» – книга стихов Бальмонта, вышедшая в 1900 г.

<sup>3</sup> «Только любовь» – книга стихов, вышедшая в 1903 г. В подзаголовке названа «Семицветником».

этими строчками, пронизанными светом. Беззакатные строчки напомнят нам закатившееся солнце, *осени первоначальной* короткую, золотую пору.

Бальмонт – залетная комета. Она повисла в лазури над сумраком, точно рубиновое ожерелье. И потом сотнями красных слез пролилась над заснувшей землею. Бальмонт – заемная роскошь кометных багрянцев на изысканно-нежных пятнах пунцового мака. Сладкий аромат розовеющих шапочек клевера, вернувших нам память о детстве.

Сноп солнечного золота растопили льды, и вот оборвался с вершины утеса звенящий ручей. Не перетягивают ли вдаль ниспадающие нити жемчужин, как струны, вечно натянутые на груди утеса? Длинное узкое облачко перерезало утес. Вот оно ползет, будто легкий смычок, извлекая жемчужные вздохи счастья. В грозовом разрыве дымных глыб замелькал нам, как молния, атласный, рубино-алый платок. Опять ниспал *«мировой, закатный рубин»* в небесном *«пире пламени и дыма»*<sup>4</sup>.

Кто-то великий и нежный, *«сознавший свою бездонность»*, развел на поляне *«дымно блестящий»* костер. *«Желтым вихрем»* закружилось, танцует, лапчатое пламя, а когда он стал бить молотом по горящим головням – стаи красных шмелей отрывались от огненных, плещущих лепестков – кружась и жужжа, окунались в хаос ночи.

Кто-то, года собиравший все брызги солнца, устроил праздник. Из ракет и римских свеч он выпустил миллионы гиацинтов. Он разукрасил свой причудливый грот собранными богатствами. На перламутровых столах наставил блюда с рубиновыми орешками. Золотые фонарики Вечности озарили. Он возлег в золотой короне. Ложем ему служил бледно-розовый коралл, и он ударял в лазурно-звонкие колокольчики. И он разбивал звонкие колокольчики рубиновыми орешками. Снежно-пенный каскад срывался у входа с утесистой кручи, словно море ландышей. Кто-то нырял в пенную глубину. И вновь выходил на сушу. С кудрей его, как брызги, ниспадали белые ландыши. Сонный лебедь плавал на холодных струях.

И когда лучезарная, перламутровая раковина показалась на горизонте, мрак стал редеть. Кто-то сел между крыльями белого лебедя и понесся, ликуя, в водовороте утренней бирюзы. То, что несло, возносясь, казалось растянутым облачком: вот оно перерезало утес. Как струны, натянутые на груди утеса, ниспадали жемчужные, вечные струи.

Узкое облачко, как легкий смычок, заскользило на струнах, и опять раздались вздохи счастья. День кончался.

Сгущались сумерки. Стаи красных шмелей уносились куда-то. Золотой край ризы, опрокинувшись за горизонт – помчался караван света в холодных безднах мировых пустынь. Тучка светового тумана полетела от нас, и мы сказали, подавляя вздох: «Опять над землей воссияла комета!.. Вот уходит она в Вечность, благословляя снопом прощальных огней!..»

Бальмонт – золотой прощальный снап улетающей кометы эстетизма. Блуждающая комета знает хаотический круговорот созвездий и временные круги, «и миллионы лет в эфире, окутанном угрюмой мглой»<sup>5</sup>.

Бальмонт – теософ, *«пронзивший свой мозг солнечным лучом»*<sup>6</sup>, *«заглянувший в мировое»*. В мировом разбрызганы бриллианты звезд с их опьяняющей музыкой, яркими цветами и ароматами.

---

<sup>4</sup> Здесь и далее Белый часто дает не точные цитаты из Бальмонта, а собственные перифразы строчек его стихов. Ср.: «мировой, закатный рубин» – «Так ты одно царишь над миром, солнце. О мировой закатный наш рубин!» («Гимн солнцу», стихотв. шестое – в сб. «Только любовь»).

<sup>5</sup> Источник цитаты не установлен.

<sup>6</sup> Из стихотворения «Солнечный луч» (1903): «Свой мозг пронзил я солнечным лучом».

В музыкальных строках его поэзии звучит нам и грациозная меланхолия Шопена, и величие вагнеровских аккордов – светозарных струй, горящих над бездною хаоса. В его красках разлита нежная утонченность Боттичелли и пышное золото Тициана.

*1904*

## II

Легкая, чуть прихрамывающая походка точно бросает Бальмонта вперед, в пространство. Вернее, точно из пространств попадает Бальмонт на землю – в салон, на улицу. И порыв переламывается в нем, и он, поняв, что не туда попал, церемонно сдерживается, надевает пенсне и надменно (вернее, испуганно) озирается по сторонам, поднимает сухие губы, обрамленные красной, как огонь, бородкой. Глубоко сидящие в орбитах почти безбровые его карие глаза тоскливо глядят, кротко и недоверчиво: они могут глядеть и мстительно, выдавая что-то беспомощное в самом Бальмонте. И оттого-то весь облик его двоится. Надменность и бессилие, величие и вялость, дерзновение, испуг – все это чередуется в нем, и какая тонкая прихотливая гамма проходит на его истощенном лице, бледном, с широко раздувающимися ноздрями! И как это лицо может казаться незначительным! И какую неуловимую грацию порой излучает это лицо! Вампир с широко оттопыренными губами, с залитой кровью бородкой, и нежное дитя, ликом склоненное в цветущие травы. Стихийный гений солнечных потоков и ковыляющий из куста фавн. И оттого-то широкополая серая шляпа, жалко висящее пальто, в котором дитя-вампир шествует по Арбату, производит иногда жалко-трогательное впечатление. Не до конца скромность. Но не до конца дерзость тоже. Аромат лугового клевера, куда склонить бы лицо, склонить и – ах! – ароматом упиться, упиться, – розовый клевер, благоуханный... Но то не зеленый луг: то венки из трав луговых на пищащей летучей мыши. И обратно: мстительный гений грозы, демон сжигающей страсти, наконец, сам рыжебородый Тор<sup>7</sup>, но Тор, бредущий тоскливо по Арбату в октябрьский день, когда струи дождя дни и ночи натянуты над городом. Он останавливается, он грозит стихийными бедами – Тор на Арбате, – и вдруг надменно топнет ногой по мокрому асфальту: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце!»<sup>8</sup> – «Чего-с?» – повертываются к нему приказчики.

Вот где его противоречие, слабость его, разорванной души неутоленная боль.

Ах, напрасно говорит он о себе, напрасно: «Вы разделяете, сливаете, не доходя до бытия: о, никогда вы не узнаете, как безраздельно целен я»<sup>9</sup>. Вовсе он не целен – не целен Бальмонт. Или, пожалуй, и да: целен, но странной цельностью.

Целен в своем отрешенном от земли полете – там, в пространствах, там, ночью, там – где, по его же словам, «темно и страшно».

«О ночь, возьми меня: я так устал от дня»<sup>10</sup>. И ночь его взяла: не вернет, не вернет.

С той поры всегда только в пространстве Бальмонт, никогда не на Арбате. И носится по земле, носится: Арбат, Париж, Испания, Мексика, опять Арбат. Может быть, надо исчислить орбиту его иначе: вернее совершает он свое круго-пространственное плавание в более широком масштабе: Земля, Марс, Венера, Сатурн, Геркулес.

Проездом мимо земли бледным он нежителем пройдет и по Арбату, прочтет реферат, бросит нам букетец созвездий и – мое почтение: приподнимет шляпу, да и... нет его.

«Сорвался разум мировой, – сказал он, – и миллионы лет в эфире окутаны туманной мглой».

Да, но вместе с мировым разумом сорвался разум Бальмонта, и нет уже мудрости в нем осязать действительность. И стены – не стены уж больше, и комната больше не комната, а четыре перегородки в пространстве. Мировой гражданин тонкий, умный, высокоталантливый

<sup>7</sup> Тор – в германо-скандинавской мифологии бог грома, бури и плодородия, божественный богатырь – защитник богов и людей от великанов и чудовищ.

<sup>8</sup> Из стихотворного Вступления к книге стихов «Будем как солнце» (1902).

<sup>9</sup> Из стихотворения «Далеким близким» (1903).

<sup>10</sup> Источник цитаты не установлен.



– мировой гражданин с сорвавшимся разумом, умеющий несравненно лучше распевать интерпланетный марш, нежели интернационал, вот кто такой Бальмонт.

Бедный Бальмонт! Тщетно силится он ухватиться за землю, касаясь ее. Пересекая земную атмосферу, он машет нам шляпой и поет, и кричит, и, плачет; заверяет, что он поджигает здания; что он – страсть, и жизнь, и цветок орхидеи. Так бездомный аэролит, проницая воздух, на мгновение загорится, красным блеснет орхидейным цветком. Фьюить – и нет его: ледяные пустыни приняли его опять, оледенели и мчат, мчат.

«Кто услышал тайный шепот Вечности, для того беззвучен мир земной»<sup>11</sup>. Сказал – и мир истаял. Тогда захотелось земли и света.

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце». И верят ему. А я – я не верю. Сам он зажег эти солнца, чтобы осветить мрак небытия, и его призывы к жизни – игра северного сияния на далеком полюсе. Рубином он назвал солнце: ах, эта ледяная глыба в огне северного сияния! Клянется, что ею подожжет он мир: но жжет и холод. Обожженный холодом, обожженный Бальмонт! Пролетая от Сатурна к Венере, мимо земли, он старается оказать ей любезность (хозяйке дома всегда оказывают честь), называя *лунные свои струйности сладострастием, а земляной пыл любово-страстных объятий – лепестковостью*. И бальмонтисты упражняются в флирте, а бальмонтистки, обрамляя головки прическами в *стиле нуво*, накалывают на грудь *кровожадные орхидеи*. Критика поднимает шум, а Бальмонт, жрец нового храма, из которого вынесут пламя земного пожара, сидит себе где-нибудь на луне и клянется ей в верности: прославляет небытие...

Бальмонт увидел пространства души. Бальмонт увидел пространства звезд. И сказал, что пространства души и суть звездные пространства. И пространства души уплыли в пространства: не соединил эти пространства в живом соединении, в символе. И тело осталось телом, пустой оболочкой, а душа, украденная пространством, ему подвластная, вертится в вечном круговороте без точек опоры. Душа Бальмонта коснулась бесконечности, ей подчинилась: такая бесконечность, *бесконечность дурная* (выражение Гегеля)<sup>12</sup>: это – миллиарды верст и дней. Вместо того чтобы воплотить в мгновение мир, он мгновение растянул в бесконечность мирового процесса. Поет: «Я сгораю». Лучше бы он заплакал: «Замерзаю». И если ценность есть бытие одушевленное, соединяющее дух и эмпирику, то Бальмонт не соединил мировое с земным. Наоборот: разъединил. И осталась только эмпирика да мировой круговорот, о котором он говорит: «Яйцевидные атомы мчатся».

Бальмонт глубоко обижен: «Как будто душа о желанном просила, но сделали ей незаслуженно больно. И сердце застыло, но сердце простило. И плачет, и плачет, и плачет невольно»<sup>13</sup>. Буддист-оргаист, вот кто Бальмонт. Какое вопиющее противоречие!

Его жизненный путь на свитке бытия рисует одновременно два узора: красные арабески и холодную эмблему какого-нибудь Дармакирти, буддийского мудреца<sup>14</sup>. Оба рисунка вместе производят тяжелое впечатление: кто-то, умирая, начертал таинственный знак, и от этого знака изошел кровью кто-то другой и залил эмблему своей кровью: перед нами клякса. «Переломанные кости стучат... А ручки говорят, говорят»<sup>15</sup>.

И Бальмонт не ходит больше по земле, а висит в безысходных пустотах.

<sup>11</sup> Из стихотворения «Прости!» (1898).

<sup>12</sup> Под дурной, или отрицательной, бесконечностью Гегель понимал безграничное увеличение какого-либо количества. «Слишком длительное рассматривание этого бесконечного процесса скучно потому, что здесь повторяется одно и то же. Сначала ставят границу, затем переступают ее, и так до бесконечности» (см.: *Гегель*. Соч. Т. 1. М.-Л., 1930, с. 161). Образом истинной бесконечности, согласно Гегелю, является круг, законченный внутри себя и не имеющий ни конца, ни начала.

<sup>13</sup> Из стихотворения «Безглагольность» (1903).

<sup>14</sup> Дармакирти (Дхармакирти) – философ-буддист, приверженец учения йогачары (см. примеч. 75–76 к статье «Эмблематика смысла»), живший в VII в. В библиотеке Белого имела книга: *Щерват-ская Ф. И.* Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Учебник логики Дармакирти и толкование на него Дармотарри. Ч. 1. Спб., 1903.

<sup>15</sup> «Переломаны кости. Хрустят [...]» «О, ручки, говорят, говорят!» – «В застенке» (1903).

Холодно ему. Войдет в ярко освещенную комнату. Там модернистки, в платьях а la Берн-Джонс<sup>16</sup>, стараются быть лепестками. Между ними с цветком туберозы расхаживает Бальмонт. Гордо и важно, как праздничное дитя, он оглядывает их в пенсне.

Помню его в студии художника. Он прочитал там букет стихов – букет цветов, сорванный в мировых иссиня-синих лугах, над красными обрывами (как обрывами песчаника) догорающих зорь. Может быть, недавно еще он сидел так в этих лугах, где качались звезды-курслепы на луне – бел-горючем камне, – и долгую свою слезную пел он песню. Стало ему пусто – и вот пришел к людям. Назвал горькие он ключи, стекающие с лунного камня, «сладострастием», а зори – пожаром страсти. Пришел: барышни, дамы и кавалеры, сидящие вдоль стен, качнулись восхищенно справа налево, слева направо. Барышни, дамы – все точно с картины Берн-Джонса. Кавалеры – парикмахерские куклы в прическах а la Уайльд. Стилизованные головки качались, как головки колокольчиков, трезвоня в свою пошлость, а Бальмонт раздарил им мировые цветы, которые они приняли за кровожадные орхидеи.

Мне было жаль Бальмонта. Сидел грустный, и жалобно гасло северное сияние его души: ведь оно для большинства его читателей только пламя земляной печи, тонко раздражающее чувственность. Сияние за полярным кругом принимают ведь за душный зной тропиков. Ледяной, рубином пылающий осколок – Бальмонтово солнце – всегда тает в теплицах модернизма. Приходит из пространств и не видит зеркал, люстры, разодетых, пышущих жаром дам; видит спадающие со стен водопады времен; созвездие Ориона, окруженное красными кометами. А то не кометы, а дамы в красных платьях. Войдет, осиянный, и сияние стекает. Лед пустынь, соприкасаясь с жаром, взрывается паром, и – паф! Клубы пара. Пенсне надменно взлетело на нос, ярко-огненная борода взлетела тоже. Начинается стадия пресловутой бальмонтовской дерзости. Теперь он способен сказать: «Я – солнце». А это – глубокая истерика; это – надвое разорванная душа.

«Я – Бог, я – царь, я» – и паф, паф, паф! Клубы пара. «Ах!» – шепчут дамы. «Гы-ы», – фыркает где-то свинообразный пошляк.

Бедный Бальмонт, бедное, одиноко в пространство ночи закинутое дитя!

Холодно ему, холодно. Не отогреть его, не отогреть. Он ушел далеко, далеко. Приходите к нему, посидите, и вы поймете, что трудно с ним говорить, вести беседу. Беседа всегда обрывается, потому что он не слышит людей, не умеет слышать. И хотел бы, да не может. И это не замкнутость, а полная беззащитность. Он может внимать и молчать, т. е. слушать; но слушать не собеседника, а свою собственную музыку. Он может говорить; но его речь – беседа, обращенная к самому себе. Вне этого начинается только автоматическая светская речь или историко-литературный разговор.

Тщетно хватается он за все, за что можно ухватиться, – за блеск очей, за блеск свечей, за блеск книжного знания. Ежегодно прочитывает целые библиотеки по истории литературы, теософии, востоку, естествознанию. Но книжная волна без остатка смывает книжную волну. Книжные волны лижут голый утес; как с утеса вода, сбегает с Бальмонта книжная мудрость, не изменяя его. Был Бальмонт, есть Бальмонт, будет Бальмонт. А волна за волной набегаем на него – увлечение той или иной отраслью знания. Когда же пытается он примирить интересы познания с творчеством, получается одно горе. Так: недавно нашло на Бальмонта естествознание; засел за ботаники, минерологии, кристаллографии. И в результате «Литургия Красоты»<sup>17</sup>, где часто в рифмованных строках дурного тона натурфилософия – смесь Окена с алхимией.

Нашла на него полоса народных поверий. Но я не верю в его способности исследователя. Хорошо изъяснял он мне в Париже Словацкого, но, вероятнее всего, изъяснял лишь себя. Он

<sup>16</sup> Э. Берн-Джонс, английский живописец и график, принадлежал к младшему поколению прерафаэлитов.

<sup>17</sup> «Литургия красоты» – книга стихов Бальмонта (1905).

хочет ходить во всех одеяниях. И много у него чудесных личин. Но есть личины и нечудесные, как, например, «Жар-Птица»<sup>18</sup>.

Теперь ему кажется, что на Златопером Фениксе летит он в мир славянской души, а мы видим Бальмонта верхом на деревянном петушке в стиле Билибина. Но я не боюсь за поэтический талант Бальмонта.

Завтра встанет он с петушка, надменно взлетит к лицу надменное его пенсне, и – паф, паф, паф! Уйдет в синие свои, синие, синие просторы. Наденет шляпу, запоет интерпланетный марш и... нет его: пошел описывать рейсы: земля – луна – солнце – земля.

Нет, даст еще нам Бальмонт свои дивные песни, нет, еще он не умер, как кажется это многим.

Но и теперь, и прежде, и потом он заслуживает глубокого сожаления. Он не сумел соединить в себе все те богатства, которыми наградила его природа. Он – вечный мот душевных сокровищ: давно был бы нищ и наг, если бы не получал он там, в пространствах, какие-то наследства. Получит – и промотает, получит и промотает. Он отдает их нам. Проливает на нас свой творческий кубок.

Но сам он не вкушает от своего творчества.

Нам сокровища его музыки сверкают цветами жизни, для него они – ледяные осколки, озаренные огнем померкшего сияния.

Жизнь не соединил он с творчеством в символе ценности и бесцельно носится в мировых пустынях небытия.

Бедный, бедный Бальмонт, бедный поэт...

1908

---

<sup>18</sup> «Жар-Птица» – книга стихов (1906) с подзаголовком «Свирель славянина», где Бальмонт использует русские фольклорные мотивы.